



Ф. А. СТЕПУН

Бывшее и несбывшееся

Нет сомнения: ни за царем, ни за дореформенным помещиком русский народ не был закреплен такую проклятою, кровавою крепью, как за Лениным и Сталиным. Тем не менее — и в этом величайший упрек всем нам, не отстоявшим России от большевиков.

«Октябрь» войдет в историю существеннейшим этапом на пути окончательного раскрепощения русского народа. Я знаю, до чего трудно согласиться с этою мыслью, высказывая ее, я чувствую, как сердце еще на конце пера сопротивляется ее начертанию. Тем не менее я уверен, не согласившись с моею парадоксальною мыслью, невозможно хотя бы в общих чертах представить себе будущего облика России. Одна черта этой России кажется мне несомненной: какой бы в ней ни выкристаллизовался политический строй, какой бы в ней ни сложился социальный и хозяйственный уклад, того старого, дореволюционного народа, который людьми привилегированных классов и в особенности помещиками в гораздо большей степени ощущался каким-то природно-народным пейзажем, чем естественным расширением человеческой семьи, (о своих крестьянах наши помещики-эмигранты чаще всего вспоминают с совершенно такою же нежностью, как о березках у балкона и стуче молотилки за прудом) больше не будет. Из чело-веконенавистнической, большевистской революции народ выйдет окончательно очеловечившейся стихией. Разница между людьми высших классов и многомиллионным массивом народа исчезнет.

Благодаря этому, русская жизнь во многих отношениях станет лучше и справедливее, но какою-то своею таинственною красотой она оскудеет. С исчезновением народа, как стихии, неизбежно

изменится и то русское чувство природы, то утонченное осязание ее одухотворенной плоти, ее космической души, которым так значительно русское искусство. У современных европейцев его уже нет, и нет, конечно, потому, что в наиболее цивилизованных странах Европы народ уже давно как бы расхищен по отдельным индивидуальностям. Французский и немецкий народы это прежде всего — люди, — русский, дореволюционный, главным образом, крестьянский народ — это еще земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать, человечность русской природы есть лишь обратная сторона природности русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческого ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной: жильё — бревно да солома, заборы — слеги да хворост, одежда — лен да овчина, дороги, за исключением редких шоссе, не проложены, а наезжены. А за этим, цивилизацией еще не разбуженным миром, подобный коллективному «дяде Ерошке»¹ тот русский народ, на котором держалась наша единственная по вольности своего дыхания, во многом, конечно, грешная, но все же и прекрасная жизнь.

Жизнь эта убита, ей никогда не воскреснуть. В России, быть может, возможно восстановление пореволюционной монархии, но в ней невозможно восстановление того дореволюционного быта, тоска по которому, что греха таить, с каждым годом все сильнее звучит в душе. Слава Богу, вместе с ней крепнет и тоска по тому русскому народу, который, не ведая что творит и не жалея себя, покончил с этой жизнью и выбросил нас на чужбину. Даже странно как-то: в дни, когда несправедливые глаза отказываются смотреть на приютивший нас западно-европейский мир, передо мною встают не родные лица оставленных близких и друзей, а милые облики родных калужских мест, одни названия которых: Шаня, Шаняны, Шорстово, Кондрово, Ираидово, Угра, — звучат в душе непередаваемой в словах, ворожащей музыкой. Под эту музыку в памяти всплывают целые толпы простого народа, окружающего наш дом, но не сливающегося с людьми, живущими в нем.

Народ — это вечно висящие на задней садовой калитке вихрастые, ноздрястые, быстроглазые ребяташки, неустанно волокущие

в барский дом продать за копейку все, что попало: щуку, карася, ежа, ужа, сыча или какую-нибудь, по их мнению, диковинную лягушку. (Все знали, что садовнику было приказано покупать для зверинца всякую живность.)

Народ — это молодые, веселые бабы с певучими голосами, приносящие на кухонное крыльцо то решета душистой земляники, которой почему-то теперь нет во всем мире, то кошелки с белыми отборными грибами.

Народ — это нищенки-побирушки, древние согбенные старухи с огромными мешками через оба плеча, с потухшими слезливыми глазами, с мелко-иссеченной коричневой кожей на жердястых, в пыли и глине ногах.

Народ — это парни и девки в пестрых рубахах и цветистых платках, с громкою заливчатою песнью возвращающиеся с работ на деревню, это серые мерно шагающие за плугом пахари, это полумифические в овчинных тулупах и волчьих шапках «деды Морозы», зябко поспевающие за своими тяжело нагруженными розвальнями.

Народ — это гуськом спускающиеся за мальчишкой поводом с Масловской горы слепые, которые, закатив к небу свои страшные бельма, ждут у кухонного окна милостыню, оглашая двор гнусавым пением о «Смердящем Лазаре», это говоруньи богомолки, которых поят чаем в буфетной, и «беглые» монахи Тихоновой пустыни, в два счета спроваживаемые со двора няней Сашей, почему-то считавшей эту обитель, в отличие от Оптиной, пристанищем всяких тунеядцев и жуликов.

<...>

Русская армия, ее Верховный главнокомандующий, ее доблестные офицеры — достаточно вспомнить Крыленковскую расправу с генералом Духониным² и эвакуацию Крыма — такую страшную цену заплатили за грехи прошлого, что для каждого русского человека, в особенности для русского офицера, было бы величайшим счастьем не возвращаться памятью к тому темному прошлому, поругание которого все еще продолжает быть любимым занятием всех злостных хулителей русской чести. Но что же делать? Как из песни не выкинуть слова, так и из революционной трагедии России не выкинуть вины разбитой японцами старорежимной армии.

Необходимость внутренне осилить всё, что с нами произошло, неумолимо требует от нас осознания и этой вины. Единственное, что каждый из нас, бытописателей бывшей России, должен строго требовать от себя, это то, чтобы в его воспоминаниях была правда, а в обличениях не злоба, а скорбь. Хочется верить, что эту правду и эту скорбь услышат в моих воспоминаниях и те белые офицеры, которым уже давно ясна черта, отделяющая священную белизну первопоходной идеи от той нудной белоэмигрантской идеологии, которая в своей фарисейски-мелочной ненависти к советской власти нераскаянно славит не только подвиги, но и грехи прошлого, мешая тем самым возрождению России.

<...>

То, что тридцать лет тому назад ранило меня в поведении Виндельбанда³, впоследствии перестало меня удивлять. Шаблонные русские рассуждения о том, что все мы гораздо искреннее, душевнее и глубже европейцев, и в частности немцев, естественны и понятны у эмигрантов, но явно не верны. Верно лишь то, что русская интеллигентская культура сознательно строилась на принципе внесения идеи и души во все сферы общественной и профессиональной жизни, в то время как более старая и опытная европейская цивилизация давно уже привыкла довольствоваться в своем житейском обиходе простою деловитостью. Остроумнейшая социология Зиммеля⁴ представляет собою интересное оправдание этой европейской практики. По мнению Зиммеля, вся уравновешенность и уверенность человеческого общежития покоится на том, что мы не слишком заглядываем друг другу в душу. Знай мы всегда точно, что происходит в душе нашего шофера, пользующего нас доктора и проповедующего священнослужителя, мы иной раз, быть может, и не решились бы сесть в автомобиль, пригласить доктора или пойти в церковь. Не ясно ли, что в этом нежелании знать душу обслуживающих нас профессионалов уже таится требование, чтобы она не слишком вмешивалась в общественно-государственную жизнь.

Может быть, это требование и не так бессмысленно, как оно кажется на первый взгляд. Уже в университете Вересаев⁵ с особой душевной чуткостью относился к гуманному призванию медика, в результате чего из него вышел не очень хороший врач, а довольно посредственный писатель. Немецкая профессиональная культура

целиком покоится на труде, знании и жажде постоянного совершенствования. Души, в русском смысле, в ней немного, но успех ее очевиден. Весьма различные стили русской и европейской культур сказались, конечно, и в различии обеих революций. Но не будем заглядывать вперед.

<...>

Не странно ли, что съехавшиеся в 1908-м году на конгресс философы, несмотря на революционные громы 1905-го года и на то, что до начала Великой войны оставалось всего только шесть лет, не испытывали ни малейшей тревоги за состояние мира.

Правда, в своем вступительном слове президент конгресса, Виндельбанд, горячо говорил об опасности борьбы «всех против всех», которую несут с собою популяризация знания и демократизация общества; но, анализируя эти опасности и оптимистически предсказывая возврат человечества к разумно-гуманитарным идеалам 18-го века, он в гораздо большей степени волновался борьбою Сократа⁶ с софистами, о которой блестяще писал в своих «Прелюдиях», чем своей современностью. Социологическая незаинтересованность и политическая нечуткость почти всей неоиdealистической философии Германии были поистине потрясающими. Успокаиваясь на том, что Ницше⁷ — поэт и филолог, а Маркс⁸ — экономист и политик, маститые профессора философии или вообще не занимались этими мыслителями, или занимались ими в целях приспособления их идей к положениям научной философии, что по тем временам значило — к Канту⁹. Зиммель остроумно доказывал, что античное учение Ницше о вечном возвращении может быть понято как своеобразная трактовка категорического императива: «живи так, чтобы, в случае повторения жизни, ты не имел бы основания желать изменения пройденного тобою пути». Явно не чувствуя заложенных в марксизме разрушительных энергий, Форлендер¹⁰ близоруко подводил идеалистически-этический фундамент под материалистическое учение «Коммунистического манифеста».

Русская вольная философия, державшаяся в общем и целом мнения Н. А. Бердяева¹¹, что интерес к вопросам познания всегда развивается там, где утрачивается доступ к «бытию», и потому, быть может, более чуткая к вопросам социальной и политической жизни была, к сожалению, представлена на конгрессе не толь-

ко случайными, мало интересными, но и весьма молчаливыми мыслителями <...>.

Я, как впрочем и все русские студенты-философы, был всею душою на стороне немцев, которым американский прагматизм представлялся страшным варварством и грубым невежеством. Яковенко¹², несколько раз выступавший против прагматистов, своею полемическою энергией и святительскою внешностью неизменно вызывал большой интерес к своим критическим замечаниям. В основном и Яковенко, и все другие противники прагматизма были бесспорно правы: выросший на перекрестке дарвинизма и марксизма прагматизм был, благодаря своему утилитарному отношению к высшим духовным ценностям, совершенно не в состоянии не только разрешить, но хотя бы только правильно поставить основной философский вопрос о природе истины. Тем не менее в его живом подходе к вопросам устройства жизни для отвлеченной немецкой философии было много нового, а для русской, которую мы, русские, к стыду своему знали хуже немецкой, много своего, близкого. Перекликаясь и с Ницше, и с Бергсоном¹³, американский прагматизм стремился, в чем и была его главная заслуга, к замене схоластически-школьной философии живою и действенною, всеохватывающею философией целостного духа. Эта, в своей религиозной глубине русская, тема захватила меня много позднее — лишь на войне. Не скажу, чтобы немецкие пушки разбили во мне твердыни критической философии; они просто повернули душу к другим, более существенным вопросам. Легкость моего внутреннего отхода от Канта, освоение которого я, однако, и поныне продолжаю считать необходимым условием серьезного изучения философии, объясняется, конечно, чужеродностью его философии всему моему душевному и умственному строю. Боже, с какими муками усваивал я в свои первые семестры «Критику чистого разума». Ночи напролет бродя по горам Гейдельберга, смотрел я, бывало, на летящую сквозь облака луну, на переливающийся огнями сизо-туманный город подо мною, с его мостами и башнями, на возникающую в моем представлении за Гейдельбергом, Берлином и Варшавой, Москву (вот Георгиевский переулок, за обеденным столом сидят все наши) и никак не мог поверить, что весь этот с детства знакомый, устойчивый мир всего только содержание моего сознания, которому на самом деле или вообще

ничего не соответствует, или нечто, о чем я не в силах составить себе ни малейшего представления.

Не знаю, как бы я осилил все эти трудности, если бы не внезапно возникшее во мне увлечение немецкой романтикой и мистикой. Новалис и Шлегель, Шеллинг и Баадер, Мейстер Эккехардт, Плотин и Рильке¹⁴ не только помогли мне освободиться от гносеологической муки, но и подготовили мою встречу русской философией. Во время работы над своей докторской диссертацией о Соловьеве¹⁵, за изучением Одоевского, Чаадаева, Хомякова и Киреевского¹⁶ я испытывал большую радость первой встречи наивно реалистического детского восприятия мира с положениями научной философии. Моя большая программная статья «Жизнь и творчество», опубликованная в 1913-м году в «Логосе», представляет собою первый набросок философской системы, пытающейся на почве кантовского критицизма научно защитить и оправдать явно навеянный романтиками и славянофилами религиозный идеал.

<...>

По моим наблюдениям, в конце 19-го века и еще более в начале 20-го в каждой русской семье, не исключая и царской, обязательно имелся какой-нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный домашний революционер. В консервативно-дворянских семьях эти революционеры бывали обыкновенно либералами, в интеллигентски-либеральных — социалистами, в рабочих — после 1905-го года иной раз и большевиками. Нельзя сказать, чтобы все эти тайные революционеры были бы людьми идеи и жертвы. Очень большой процент составляли снесенные радикальными ветрами влево талантливые неудачники, амбициозные бездельники, самообольщенные говоруны и мечтательные женолюбы. (Левая фраза тогда очень действовала на русских женщин).

<...>

Вглядываясь в революции 20-го века, нельзя не видеть, что свойственный им дух утопического активизма связан с молодостью их вождей. Требование русских бунтарей — Бакунина, Нечаева и Ткачева¹⁷ — «долой стариков» бесспорно сыграло в новейшей истории весьма значительную роль. Для большевистского бунта, как и для фашистских переворотов в Италии и Германии,

характерна, впрочем, не только та роль, которую в них играла молодежь, но и сознание этой молодежи своей революционной роли в истории. Причин, объясняющих этот факт, много, и большинство из них налицо. Мне хочется выделить из них лишь одну, быть может, самую глубокую. Я думаю, что молодость особо утопична потому, что она живет с закрытыми на смерть глазами. В так называемые «лучшие» годы нашей жизни смерть представляется нам бледною, безликою тенью на дальнем горизонте жизни, к тому же еще и тенью поджидающей наших отцов и дедов, но не нас самих. Этим чувством здешней бессмертности и объясняется прежде всего революционный титанизм молодости, ее жажда власти и славы, ее твердая вера в возможность словом и делом, огнем и мечом изменить мир к лучшему — одним словом всё то, что характерно для вождей, диктаторов, героев-революционеров, чувствующих себя не смертными человеками, а бессмертными полубогами.

Как безвыходна была бы история человечества, если бы она почти 2000 лет тому назад не осветилась бы светом христианства. Отменив богооткровенною истиною все «только» человеческие мудрствования и навеки победив тишайшею тайною Вифлеемской ночи все титанические замыслы безбожного самоуправства, христианство призвало всех нас, юных и старых, здоровых и больных, богатых талантами и нищих духом к столь великому преобразению мира, перед которым распадаются в прах самые смелые мечты о революционном переустройстве человеческой жизни. Не потерять даже и в наши дни веры, что всех борющихся между собою «героев» в конце концов победит Бог не так трудно, как оно на первый взгляд кажется. Чтобы не соблазниться всемогуществом зла, надо лишь понять, что истина побеждает и там, где отрицающая ее ложь, пытаясь на свой лад строить нашу жизнь, изо дня в день только разрушает ее.

Все эти мысли были у меня в 1914-м году в зачаточном состоянии.

<...>

Со страхом и трепетом приступаю к описанию «Февраля». Как уловить, как передать его раздвоенную душу? В каких словах запечатлеть радостную взволнованность целодневных заседаний в Таврическом дворце, после которых мы часто расходились по домам призрачно-белыми ночами, и медленное расползание по всей

России ржаво-кровавых туманов «Октября», в которых погибло десятилетиями подготовлявшееся освобождение России.

Противопоставлять «Февраль» «Октябрю», как два периода революции, как всенародную революцию — партийно-заговорческому срыву ее, как это все еще делают апологеты русского жирондизма, конечно, нельзя. «Октябрь» родился не после «Февраля», а вместе с ним, может быть, даже и раньше его; Ленину потому только и удалось победить Керенского¹⁸, что в русской революции порыв к свободе с самого начала таил в себе и волю к разрушению. Чья вина перед Россией тяжелее — наша ли, людей «Февраля», или большевистская — вопрос сложный. Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра.

Боюсь поэтому, что будущему историку будет легче простить большевикам, с такою энергиею защищавшим свою пролетарскую родину от немцев, их кровавые преступления перед Россией, чем оправдать Временное правительство, ответственное за срыв революции в большевизм, а тем самым в значительной степени и за Версаль, Гитлера и за Вторую мировую войну. В своих «Воспоминаниях» Керенский сам говорит, что останься Временное правительство у власти, оно не допустило бы Версаля.

Я никогда не был революционером, больше того: во мне никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против тех левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров, среди которых протекала моя гейдельбергская жизнь. Несмотря на такое отношение к революции, я принял весть о ней радостно, в чувстве, что над мрачным унынием изнутри разлагающейся войны внезапно воссиял свет какого-то ниспосылаемого России исхода. В безвыходные минуты мы всегда склонны принимать новое за светлое.

В таком, неожиданно для себя самого, светлом чувстве смотрел я на своих солдат, быстро выстраивавшихся на косогоре, с которого в лучах яркого полуденного солнца уже сбегали быстрые весенние ручьи.

<...>

Сотни раз повторяя формулу «за родину и революцию», я должен был приглушать в себе ощущение несочетаемости этих слов, из которых первое означало святыню, а второе, смотря по точке зрения, преступление, болезнь или тяжелую операцию. Требуя

наступления в защиту «земли и воли», я опять-таки должен был кривить душою, так как ни минуты не верил в то, что наступление действительно необходимо для проведения в жизнь эсеровской аграрной программы: землю крестьяне могли получить и от большевиков, бывших против наступления. Доказывая фронтовикам, что большевики — ставленники немецкого Генерального штаба, издающие свои газеты на немецкие деньги, я знал, что говорю неправду, потому что говорю лишь полуправду, умалчиваю о глубоко народных корнях большевистского поражения. Защищая старых офицеров от клеветнических нападок желторотых «маршевиков», еще не нюхавших пороха, я мучительно переживал чувство глубокой вины перед седыми полковниками, которым моя защита офицерства не могла не казаться оскорблением его. Ложась во время армейских съездов спать вместе с солдатами, я не смел подать и виду, что мне было бы много приятнее переночевать в офицерском собрании.

В этом упрощении и снижении своих чувств и мыслей, в этом утаивании своего подлинного «я» не только от окружающих, но и от себя самого, в этом отказе от «независимости сердца», которую, как высшую добродетель требовал Бальтазар¹⁹, была не только мука, которую я всегда чувствовал, но была, как я сейчас понимаю, и ложь.

Если бы судьбе оказалось угодным когда-либо снова предложить мне ответственный пост, я не ради себя, не по привычке к созерцательному сибаритству, а ради успеха порученного мне дела, отказался бы от него, если бы знал, что мне не сохранить на предложенном посту многомерности своего сознания. Всякая деятельность, требующая от деятеля предательства полноты его личности, не может не разрушать священной тайны жизни тем цивилизаторским варварством прагматиков-специалистов, от которого ныне гибнет европейская культура.

Была ли исторически дана хотя бы отдаленная возможность повести революцию путями, не требующими упрощения и предательства, — вопрос очень трудный. Лично я уверен, что память о прошлом и порыв в даль будущего могли бы одинаково сильно звучать в политическом творчестве Временного правительства, если бы оно оказалось независимым и достаточно дальновидным. Слишком легко отказываясь от прошлого и слишком бурно стремясь в будущее, Временное правительство не задумываясь

требовало от сочувствующих ему кругов, прежде всего от офицерства и цензовой России, непосильного для них разрыва с прошлым, ставя себя тем самым в маловыгодное для борьбы с большевиками положение. Конкурировать с большевизмом по линии его упрощенного представления о будущем ему было невозможно, бороться же с большевиками, не опираясь на те круги, которым, несмотря на сознательное приятие революции, было все же жаль старой России, было ему непосильно.

<...>

Можно по-разному относиться к борьбе русской интеллигенции с монархией. С монархически-синодальной точки зрения ее можно считать безумием и даже преступлением; с либерально-гуманитарной и революционно-социалистической — в ней нельзя не видеть основного смысла новой русской истории. Об одном только как будто бы невозможен спор: о грандиозном размахе и даже вдохновенности нашего за сто лет до октябрьского переворота начавшегося Освободительного движения.

Глава декабристов, прямолинейно-волевой Пестель²⁰, мечтавший на якобинский лад осуществить «русскую правду» и по совершении своего подвига уйти в монастырь; вселенский бунтарь Бакунин²¹, считавший, что для народа не только не надо выдумывать несуществующего Бога, как думал Вольтер, а надо убить, пожалуй, и существующего (в существовании Бога Бакунин далеко не всегда сомневался); пламенный политик и патетический лирик Герцен, лучшие страницы которого и поныне нельзя перечитывать без волнения; ясный и светлый анархист Кропоткин²², которому лишь чрезмерная чуткость социальной совести помешала вырасти в того большого ученого, которым он был создан; народовольцы, выходявшие после 25-летнего заключения из тюрьмы такими же несокрушимо верующими в революцию юношами, какими они в нее попадали; тысячи юношей и девушек, которые, отказываясь от всех благ жизни, шли в народ, чтобы постичь его правду и принести ему свободу; восторженный, почти святой террорист Каляев²³, искренне благодаривший суд за вынесенный ему смертный приговор, — всё это люди громадных размеров, еще ждущие для уразумения своих душ и дел второго Достоевского и русского Шекспира в одном лице.

Много разговаривая по пути в Петроград с членами делегации о свершившейся революции, я с нетерпением ждал встречи с горо-

дом великого преобразователя, революционера Петра²⁴. Я думал, что увижу его гневным, величественным, исполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград и по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собою законченную картину разнузданности, скуки и пошлости. Не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом.

Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами и знаменами революции, а никлыми, красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат, явно чуждых величию свершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку празднично шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. Изредка куда-то с грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики: ружья наперевес, трепанные вихры, шальные, злые глаза...

<...>

Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободой, а ее гнусная контртема: мозги набекрень, исповедь горячего сердца вверх пятами, стихийное, массовое «ндраву моему не препятствуй, Аленка, не мешай», это хмельная радость о том, что «наша взяла», что гуляем и никому ни в чем отчета не даем...

<...>

Внимательно всматриваясь в первые недели своего пребывания в Совете во взаимоотношения вождей и ведомых ими масс, я не раз подмечал характерную, как мне кажется, для всех революций связь между рационалистической идеологией первых и иррациональной психологией вторых. Характернейшей чертой всех призванных вождей советской демократии было то, что они смотрели на мир не живыми глазами, а мертвыми точками зрения. Эти мертвые точки зрения порождали, однако, жизнь. Когда вожди в своем агитационном исступлении взвинчивали свои точки зрения до предела, до безумия, глаза масс наливались горячею кровью. Кажется, среди всех отравляющих массовую душу ядов нет яда более сильного, чем яд беспредметного утопизма.

В основе всех социалистических утопий лежало чувство, что революция представляет собою нечто более реальное, чем Россия. Лишь этим чудовищным смещением основных планов бытия

и объясняются, как мне кажется, все непоправимые ошибки и даже преступления наших социалистов — интернационалистов. В своем безудержном восторге перед гением революции они бесчувственно разрушали живую Россию. Мне их восторг был всегда чужд и непонятен. Для меня суть всех мировых революций заключается в преступлениях отцов и дедов перед детьми и внуками, исправляемых не меньшими преступлениями детей и внуков перед отцами и дедами. Не признавать справедливости революционной расплаты за грехи прошлого нельзя, но восторгаться революциями по меньшей мере излишне.

Такой трезвый взгляд на революцию казался нашим революционерам ее умалением. Они видели в ней некоего светлого архангела, осчастливившего Россию своим внезапным появлением в ней.

Считая такие отвлеченные социологические категории, как буржуазия, пролетариат, интернационал, за исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернационалисты естественно ненавидели в России все, что не растворялось в их социологических схемах: крестьянство как народно-этнический корень России, православие как всеединящий купол русской культуры и армию как оплот национально-государственной власти. На борьбу с этими силами и была потому сознательно и бессознательно направлена вся их страстно кипучая деятельность.

Крестьянство рассматривалось марксистами-интернационалистами и оторвавшимися от своей народнической базы левыми социалистами-революционерами как некое сырье, подлежащее переработке в социологически-первокачественный, т. е. в интернационалистически настроенный пролетариат. В отношении православия они ставили своею задачею его разоблачение как орудия для угнетения масс. В отношении армии они преследовали цель ее перевоспитания в передовой отряд рабочего интернационала.

Те, кому эти слова покажутся несправедливым преувеличением, пусть прочтут умные, интересные и по-своему даже справедливые «Воспоминания» Суханова²⁵. «Непосредственное участие армии в революции было, — пишет Суханов, — не что иное, как форма вмешательства крестьянства, форма его проникновения в недра революционного процесса. С моей точки зрения марксиста и интернационалиста, это было совершенно неуместное вмешательство, глубоко вредное проникновение и притом вовсе

не обязательное вообще, а обязанное лишь особому стечению обстоятельств. Жадное до одной земли, направив все свои государственные мысли к укреплению собственного корыта, а все свои гражданские чувства к избавлению от земского и урядника, крестьянство, будучи большинством населения, имело все шансы пройти стороной, соблюсти нейтралитет, никому не помешать в главной драме на основном фронте революции. По шумев где-то в глубине, подпаливши немного усадеб, поразгромив немного добра, крестьянство получило бы свои клочки земли и утихомирилось бы в своем идиотизме сельской жизни. Гегемония пролетариата в революции не встретила бы конкуренции, и единственно революционный и социалистический по природе класс довел бы революцию до желанных пределов».

Как социалисты-интернационалисты не понимали крестьянства, так не понимали они и офицерства. Со словами доблесть, честь, верноподданничество, присяга, подвиг, боевое крещение — они не связывали никаких положительных представлений. Для них это были не только пустые, но и кощунственно-лживые слова. Там, где офицерство переживало величайшую трагедию, вожди пролетариата видели всего только притворство и ложь. Им и в голову не приходило, что офицер, вынянченный денщиком и просидевший всю войну вместе с солдатами в окопах, способен любить своих солдат с такою глубиной и нежностью, о которой им, чуждым народу специалистам по классовой борьбе, трудно создать себе хотя бы приблизительное представление.

Я уверен, что подсознательная ненависть Совета к офицерству сыграла в разложении армии более отрицательную роль, чем политически непродуманные меры Временного правительства.

<...>

Милюков²⁶ был, конечно, гораздо более искушенным политиком, чем Гучков²⁷, и гораздо более твердым человеком, чем князь Львов²⁸, но в вожди революции он так же мало годился, как ушедший до него военный министр и министр-председатель Львов.

Хороший скрипач-любитель, Милюков оказался весьма тугим на ухо министром иностранных дел. Дальше я буду подробнее говорить о том, какую роковую роль сыграло в революции то, что Милюков не расслышал отнюдь не только шкурнической, но по существу праведной тоски русского народа по замирению. Этою глухотою, связанной с безрелигиозностью всего русского

западничества, только и объясняется, по моему глубокому убеждению, то доктринерское упрямство, с которым Милюков проводил свою верную союзническим договорам империалистическую политику.

Надо ли говорить, что настойчивость Милюкова, пытавшегося и после взрыва революции направить Россию по тому пути, который был им выработан в предположении, что в России произойдет не низовая революция, а дворцовый переворот, не имела ничего общего с тою твердою волею, которая, в связи с даром быстрого учета переменившейся обстановки, отличает прирожденных вождей масс. Таких вождей среди членов Временного правительства не было. Все это были во многих отношениях замечательные люди: честные, жертвенные и талантливые, которых ни один разумный и справедливый историк не сможет упрекнуть в корыстной защите своих классовых интересов, — но не вожди.

Люди власти не легко уходят от власти. Профессионалы политической борьбы, они защищаются до конца, прибегая часто и к сомнительным средствам. Временное же правительство первого созыва распустило себя, несмотря на данное народу обещание довести страну до Учредительного собрания, далеко не использовав находившихся в его распоряжении средств борьбы с Советом. Гучков, Милюков, а затем и князь Львов покинули свои посты, не считая для себя возможным нести ответственность за потакание Совету, а оставшиеся министры пошли по пути сговора с Советом, не понимая того, что всякой, не парламентарно-условной, а революционно-безусловной оппозиции и надлежит бороться не за победу своих взглядов во вражьем стане, а за уничтожение власти своего политического врага.

Декларация Временного правительства, опубликованная в связи с его первым преобразованием, вернее с его развалом в мае месяце, является лучшим подтверждением правильности моей характеристики.

«Основую политического управления страной Временное правительство избрало не принуждение и насилие, но добровольное подчинение свободных граждан суверенитету свободно избранной ими парламентской корпорации. Никогда оно не искало себе поддержки в физической, а всегда только в моральной силе. С тех пор как оно существует, Временное правительство ни разу не изменило этим принципам, а потому оно торжественно слагает с себя от-

ветственность за пролитую кровь. Им не было пролито ни капли народной крови».

Приводя в своих воспоминаниях это «завещание» Временного правительства, низвергнутый большевиками Керенский еще в 1922-м году «открыто» признается, что, несмотря на все пережитое, он не может перечитывать прекрасные слова Временного правительства без «сердцебиения и душевного подъема».

Нет спору, прекрасные слова, но все же вряд ли уместные в устах революционной власти в момент наступления на нее «безответственных элементов», стремящихся — как это прекрасно понимали не только уходившие, но и остававшиеся члены Временного правительства — «разгромить родину и революцию».

Моей душе мало что так претит, как мракобесное издевательство над «либеральной близорукостью», «интеллигентской мягкотелостью» и «красноречивым празднословием нашей интеллигенции», в котором с первых же дней революции состязались наши, только что бездарно выпустившие из своих рук «историческую власть», монархисты с большевиками, без стеснения разжигавшими, ради захвата власти, анархически-шкурнические инстинкты революционных масс.

Осуждая бессилие и безволие Временного правительства, я осуждаю его не за то, что оно до конца пыталось защитить свободу, которую ненавидели его враги, а за то, что оно недостаточно энергично защищало ее от всех свободоненавистников.

То, что Временное правительство не считало возможным осуществления образа будущей свободной России насилем, с моей точки зрения, только правильно. Образ истины тем и отличается от доктринерских выдумок, что истина не осуществима без доверия к свободе. Но одно дело не принуждать людей к осуществлению добра и совсем другое — не сопротивляться силою тому злу, которое всеми средствами борется против его осуществления.

Гнать солдат пулеметами в наступление на защиту родины и свободы не только нравственно недопустимо, но и практически бессмысленно: они все равно разбегутся. Но при случае, если нет иного выхода, то расстреливать трусов и шкурников, стреляющих в спину наступающим по приказу правительства добровольцам, не только целесообразно, но и нравственно допустимо.

Поскольку с Временного правительства не может быть снята ответственность за то, что оно своею мягкостью и нерешительностью

потакало наступающему злу, постольку с него, вопреки его званию, не может быть снята и ответственность за пролитую в революцию кровь. <...>

<...>

Говоря все это, я чувствовал, что мои слова уже не доходят до солдат, только что слушавших меня с доверием и сочувствием. И даже больше: говоря, я чувствовал, что за минуту перед тем по-разному настроенные солдаты начинают сливаться в какую-то единообразно-враждебную мне массу.

О природе массы психологами и социологами написано бесконечное количество книг. В большинстве этих книг особенности массовой психологии односторонне выводятся из законов больших чисел. Недостаточность этого объяснения доказывается уже тем, что дважды говоря перед той же толпой в 500–600 человек, я только во второй раз говорил перед массой. Верно, что массовая психология окончательно завладевает человеком лишь в толпе, но зарождается она, как все существенное, в уединенной глубине человеческой личности. Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией.

Сущность личности заключается в совести. Жить по совести — значит жить в послушании добру и истине и в уважении чужой свободы: «познайте истину и истина освободит вас». Совестьливая жизнь трудна для всякого человека, ибо она ежедневно налагает новые цепи на наши страсти, желания, корысти и своевольные мечты. Потому временами в людях возникает жажда выйти из подчинения добру, и даже отомстить ему. Но как оправдать эту жажду восстания на свою же совесть, на свою же волю к добру? Вот тут-то и вступают в свои права законы большего числа, т. е. массовой психологии. Если на миру и смерть красна, то на миру и ложь права. Захватывая стремящегося уйти из-под ответственности добру человека в круговорот своих страстей, толпа сразу же обезличивает его и лишает всякой самостоятельности. Обезличенные толпой люди легко сливаются в безликую массу и лишённые собственной воли послушно подчиняются воле вождя, от которого, однако, неуклонно требуют потакания тем своим мечтам и корыстям, ради которых ими был поднят изначальный бунт против своей совести.

Из своей агитационной деятельности я вынес печальное убеждение, что превращение многоликой толпы в безликую массу может

быть иной раз делом нескольких минут. Так оно было и на описываемом митинге.

Слушая мою первую речь и зло высмеивая моего оппонента, предлагавшего сейчас же разойтись по домам, солдаты, — каждый сам по себе, но все же и все вместе — напрягали, быть может, свои последние нравственные силы, чтобы не поддаваться соблазну и не погасить своей совести. Но чем больше они «нудились истинной», тем страстнее подымались в них корыстные страсти и жадные мечты: зло всегда растет вместе с добром. При наличии такой раздвоенности брошенная коммунистическим оратором мысль, что я самозванец, не имеющий никакого права навязывать им свои оборонческие требования, естественно должна была подорвать окончательно в моих слушателях их и без того заколебавшуюся волю к исполнению своего долга.

<...>

Положение, что Керенский, как глава законного Временного правительства, имеет право казнить своих политических противников, Ленин же, как вождь безответственной политической оппозиции, не имеет права на вооруженную борьбу против власти, мне казалось весьма спорным. Законности власти Керенского можно было и не признавать, так как он не был ни помазанником Божиим, ни всенародным избранником, а всего только ставленником цензовой Думы и самозванного Совета рабочих и солдатских депутатов. Ленин же с каждым днем все очевиднее превращался из лидера большевистского меньшинства в вождя широких революционных масс.

Внешне не без успеха приспособляясь к демократически-правовой аргументации Временного правительства, я про себя отчетливо сознавал, что защищаю смертную казнь не на основании весьма шатких правовых положений, а потому, что не хочу и не смею без боя уступить большевикам своей России, о которой сердцем знаю, что только она и есть Россия подлинная.

От этой подлинной России я ждал расцвета религиозной жизни в освобожденной от синодального омирщения патриаршей церкви, сохранения при деревнях и селах помещичьих усадеб в качестве рассадников культуры, что мне казалось совместимым с передачей большей части помещичьей земли трудящимся, сращения воедино долго враждовавших у нас между собой культурных традиций и политических тенденций и превращения русской

интеллигенции из ордена революционной борьбы в созидательную национальную силу.

Большевистская же Россия без колокольного звона, с немногими церквами, превращенными в музеи, и с помещичьиными домами, отведенными под колхозные управления, Россия пролетаризированного крестьянства и обвинителленченно на плоско-просветительный лад рабочего класса, Россия, ни во что не верящая, кроме как в диалектический материализм и американскую технику, бескорбно отрекающаяся от своего исторического прошлого и нагло издевающаяся над своими провиденциальными заданиями, о которых ее великими мыслителями и художниками было сказано так много глубочайших слов, казалась мне невыносимую пошлостью.

Представление, что Россия, только что вырвавшаяся из старческих объятий выродившегося монархизма, отдаст себя разнузданному кронштадтскому матросу, у которого за душой ничего нет, кроме сдобренного матерщиной марксистского жаргона и ленинского разбойничьего посвиста, вызывало во мне непоборимое эстетическое и национально-эротическое отвращение. Этим глубинным отвращением и питалась моя готовность идти на все, чтобы не допустить захвата власти большевиками.

<...>

Нет сомнения, что будущие историки нашей революции, независимо от их направления, будут уделять особо большое внимание заговору генерала Корнилова²⁹. Значение этого заговора заключается в том, что своею быстрою, полною и неожиданною для всех право-заговорщицких кругов победою над мятежным генералом, Керенский наголову разбил себя самого и тем похоронил «Февраль».

Если верно, что сущность трагедии заключается в том, что добро и зло, жизнь и смерть вырастают из одного корня, то ничего более трагического, чем «заговор» Корнилова, представить себе невозможно.

Понимание истории как трагедии в христианском сознании неотделимо от веры в свободу человеческой воли: конечно, не в смысле возможности любых произвольных действий, а в смысле всегда возможного для человека правильного выбора из ряда предложенных ему жизнью путей. Вне такой веры немыслима нравственная ответственность исторического деятеля перед истиной и историей.

Не имея никаких шансов стать точной наукой в естественно-научном смысле этого слова, историописание, начиная с эпохи Возрождения, неустанно стремилось стать таковою.

С таким науковерческим стремлением связано типичное для большинства ученых историков Нового времени отрицание таких основных категорий исторического познания, как трагедия, свобода воли, личная нравственная ответственность и соборная народная вина.

Нельзя, однако, сказать, чтобы в своем стремлении очистить историческую науку от остатков «мифических» представлений современные историки и историософы были бы вполне последовательны. Изучая их труды, замечаешь, что, не допуская откровенно религиозного, в частности христианского, подхода к исторической жизни, они иногда открыто, а иногда контрабандою вносят в свою, будто бы строго научную, работу самые разнообразные полуметафизические и полумифические, во всяком случае сверхнаучные представления. Одни, в особенности консервативные немцы, часто говорят о судьбе, о каких-то анонимных исторических силах, о народных и эпохальных душах, другие же, прежде всего социалисты, говорят о неотменных социально-экономических законах и о господствующих в истории циклических ритмах.

При всей разнохарактерности этих понятий и построений в них все же присутствует единая и весьма характерная для последних четырех столетий европейского развития тенденция отрицания истории как процесса свободного сотрудничества Всемогущего Бога и в Боге свободного человека.

Если встать на особо распространенную в современной исторической науке социологическую точку зрения, характерную не только для марксистских ученых, но и для тех, которых марксисты именуют представителями буржуазной науки, то можно с легкостью нарисовать убедительную картину той неотвратимой необходимости, с которой Февральская революция скатилась, или поднялась — это уже вопрос политической оценки, — к большевистскому «Октябрю».

Сущность социологической точки зрения заключается в последнем счете в признании общественных слоев, прежде всего классов, за главные силы истории. Закономерная смена этих коллективных сил у руля политической власти оказывается

при такой постановке вопроса главным содержанием исторического процесса. В четком чертеже такой упрощенной схемы всякая революция превращается в борьбу упорствующего у власти класса со своим закономерным наследником. «Значение личности в истории», о котором у нас было так много споров, сводится при социологическом подходе к историческому процессу почти что к нулю: историческая личность превращается в орган безличного коллектива; вождь — в ведомого, в покорного массе глашатая ее нужд и требований.

Приложение этой схемы к нашей революции дает как будто бы очень убедительную картину, допускающую к тому же как правый, так и левый варианты.

Сущность правого, кадетски-меньшевистского варианта заключалась в характеристике Февральской революции как буржуазной; сущность левого, циммервальдского, за которым стояли меньшевики-интернационалисты, левые эсеры и большевики, как потенциально-пролетарской.

Защитники правого варианта считали, что на смену феодально-реакционным кругам в пореволюционной России должны прийти к власти прежде всего буржуазно-либеральные силы и что всякая большевистская попытка обогнать буржуазию и «узурпировать» власть неизбежно приведет к разгрому страны.

Сторонники левого варианта, исходя отчасти из учения Маркса о прыжке из царства необходимости в царство свободы, отчасти же из анархо-славянофильской мысли Герцена³⁰, что России не к чему строить шоссе и дороги в эпоху железнодорожных путей, твердо шли к диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства.

При всей противоположности обоих вариантов они в последнем счете сходились на понимании той роли, которую генералу Корнилову надлежало сыграть в революции. Как кадеты и стоявшие направо от них силы, так и левые социалисты видели в нем врага советской демократии. Разница была только в том, что правый стан жаждал разгрома революционной демократии, а левый мечтал о разгроме Корнилова и стоявших за ним сил.

<...>

Диктуя по утрам передовые статьи, которые я к пяти часам привозил в редакцию, я отдавал себе ясный отчет в их полной бездейственности, а потому и ненужности: революция, очевидно,

вступала в период, когда слова, независимо от их правильности и талантливости, теряли не только всякую власть над жизнью, но и вообще всякий смысл. Наступало время рассекающих решений и решающих действий. Это отвлеченно понимала буржуазия, которая, не действуя, настойчиво требовала действий от «главно-уговаривающего» Керенского. Лучше буржуазии это понимали большевики, с бешеной энергией рвавшиеся к своей цели. Правда, в Петроградском совете, в их главной цитадели, так же днями и ночами лились многословные речи, как и во всех других учреждениях, но здесь они лились как масло в огонь действия — были настоящим действием.

На заседаниях Петроградского коммунального совета господствовала совершенно другая атмосфера, чем во Всероссийском, где все еще коноводили Церетели³¹ и его единомышленники.

Назвать заседанием то, что непрерывно творилось в Смольном, впрочем, никак невозможно. Это мирное, спокойное слово здесь неприменимо. Сборы Петроградского совета были не заседаниями, а столпотворениями. Здесь все находилось в движении, куда-то несло, куда-то рвалось. Это была какая-то адская кузница. Вспоминая свои частые заезды в Смольный, я до сих пор чувствую жар у лица и помутнение зрения от едкого смрада кругом. Воля, чувство и мысли массовой души находились здесь в раскаленном состоянии. С подиума эстрады точно и злобно, словно удары молота на наковальню, падали упрощенные формулы и страстные призывы вождей международного пролетариата. Особенно блестящ, надменен и горяч был в те дни Троцкий³², особенно отвратителен, нагл и пошл — Зиновьев³³. Первому хотелось пустить пулю в лоб, второго — растереть сапогом. Унижало чувство бессильной злобы и черной зависти к тому стихийно-великолепному мужеству, с которым большевики открыто издевались над правительством, раздавали купленные на немецкие деньги винтовки рабочим и подчиняли себе полки петроградского гарнизона. Конечно, задача большевиков облегчалась тем, что заодно с ними действовали и все низменные силы революции: ее нигилистическая метафизика, ее народно-бунтарская психология, требующая замирения на фронте и разгрома имущих классов, ее марксистская идеология, согласно которой задача пролетариата заключалась не в овладении государственным строем, а в окончательном разрушении его. Все это так, но надо

все же признать, что в искусстве восстания, изучением которого особенно увлекался Ленин, большевики показали себя настоящими мастерами.

Полную противоположность Петроградскому совету представлял собою открытый Керенским 7-го октября Совет республики, так называемый Предпарламент. Привлекши сразу же после победы над Корниловым в новое коалиционное министерство не только кадетов, но и представителей крупного промышленного капитала, Керенский не мог рассчитывать на дальнейшую поддержку Всероссийского совета. Управлять же страной, не опираясь на организованное общественно-политическое мнение, он не считал для себя возможным. В результате такого положения вещей и возник Предпарламент, созданный на приблизительно тех же основаниях, что и Московское совещание.

<...>

Монументальность, с которою неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнимо разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: «да будет так».

Да будут солдаты дипломатами и да заключают они на собственный риск и страх перемирие с неприятелем...

Да будут рабочие контролерами промышленности: пусть раскрывают торговые книги фабрикантов, пусть сами устанавливают размеры производства и цены на фабрикаты.

Да будут бедняки хозяевами земли.

Да перейдут помещичьи земли в распоряжение земельных комитетов.

Да будут народы России хозяевами своей судьбы: если им мало самоопределения в пределах России, пусть отделяются от нее.

Да будут школьники хозяевами школы: пусть их коллективной воле подчиняются учителя и родители: в детях, а не в стариках залог счастья грядущего мира.

Да будут художники глашатаями будущего.

Да здравствуют футуристы, ломающие старые формы искусства, как революция ломает формы старого быта.

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм.

Декреты оглашались один за другим, но коммунизма не получалось.

В ответ на ленинские «да будет так», жизнь отвечала не библейским «и стало так», но всероссийским «и так не стало». Перенесенное в плоскость человеческой воли творчество из ничего не создало новой жизни, а лишь разрушало старую.

Увидав это и испугавшись сделанного, большевики решительно переменили курс. Как бы вспомнив победоносцевское: «Россию надо подморозить», они отказались от своего анархо-коммунистического законодательствования и повели энергичную борьбу за централизацию и бюрократизацию власти.

Под наркозом соответственно измененной агитации началась быстрая демобилизация всякой власти на местах. Рабочий контроль был перемещен в «главки». В Москве появились всевозможные «главбумы», «главлесы», «главсахары» и т. д. Власть волостных земельных комитетов была сильно урезана. Власть в школах была возвращена учителю-коммунисту, а в армии комиссару и красному офицеру. Национальностям, входящим в состав России, было объявлено, что самоопределяться вплоть до отделения могут только свободные, т. е. управляемые коммунистическими советами народы. Практически это означало, что отделяться от Р.С.Ф.С.Р. имеют право лишь те национальности, которым и в голову не может прийти отделиться от Красной Москвы. За желающими же отделиться нациями это право признано быть не может, так как принцип интернационала не совместим с пережитками мелкобуржуазного национализма.

Под знаком этой своеобразной, но вполне последовательной с большевистской точки зрения логики большевики и начали свое кровавое собиранье грозившей распасться России, оправдывая своей политикой мудрое слово Жореса³⁴, что малая доля интернационализма удаляет от национализма, а большая — возвращает к нему...

Нельзя сказать, чтобы новая, бюрократически-централизованная система управления устраивала бы жизнь лучше анархо-коммунистической. На починку сарая мужику в «Главлесе» было еще труднее получить тесу, чем в «Волисполкоме». Бумага «Главбумом» отпускалась исключительно на партийную литературу. О сахаре в России в те времена никто и не мечтал.

Управу на продолжавшую произвольничать местную власть в высших инстанциях можно было найти только тому, у кого

в Москве были личные или партийные связи. Людям без связей лучше было и не соваться в центр, так как вокруг «красных» председателей всевозможных «главков», красных директоров и даже красных писателей и ученых сразу же начала слагаться такая густая атмосфера интриг, доносов, шпионажа и взяточничества, что было трудно дышать и страшно двигаться. Со дня на день креп террор, людей преследовали не только за их деяния и мысли, но и за их бездейственное, немое бытие. Смертные приговоры выносились и приводились в исполнение не в порядке наказания за преступление, а в порядке ликвидации чужеродного и потому не пригодного для социалистического строительства материала. Помещики, буржуи, священники, кулаки, белые офицеры так же просто выводились в расход, как в рационально поставленных хозяйствах выводится в расход одна порода скота ради введения другой.

Под угрозой этого хладнокровного, рационального террора во всей не пролетарской России начался небывалый по своим размерам процесс внутреннего и внешнего перекрашивания в защитный цвет революции.

Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих помещичьих усадеб, городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой мирозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищавших, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою в качестве служащих, а зачастую даже и руководителей всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные «товарищи» легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других. Нет сомнения, что безликий и вездесущий шпионаж был самой страшной стороною террористической системы большевизма. Сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого «чекиста».

Несмотря на этот ужас, в нашей советской жизни первых лет было нечто по своей значительности, весомости, а минутами даже и просветленности решительно несравнимое со всем, что мы переживали до революции в России и после нее в Европе. Быть может,

В. В. Розанов³⁵ наиболее точно указал на это ни с чем несравнимое, назвав свои записки о советской жизни «Апокалипсисом нашего времени». Действительно, в первые годы большевистской революции во всех кругах было чувство, что старый мир кончился и что на смену ему идет новое и небывалое.

Для коммунистов кончилась «предистория» и началась история, кончилось царство буржуазии и началось царство социализма, кончилось царство необходимости и началось царство свободы, в которое они, следуя известному слову Маркса, стремились не постепенно перейти, а мгновенно «переброситься».

Антибольшевистской Россией события воспринимались, конечно, иначе. Православному сознанию и исповедничеству большевизм представлялся не началом истории, а ее концом, не утреннюю звезду грядущего светлого царства, а вечернюю зарю запутавшегося в грехах мира. Многие ощущали Ленина антихристом и ждали Божьего суда. В гонимых церквях звучало «покайтесь», и в сердцах, наперекор творящемуся ужасу, крепла вера в новое небо и новую землю.

Неравная борьба этих в духе непримиримых, но в жизни сложно переплетавшихся апокалипсисов определяла собою и внешний быт, и внутренний смысл эпохи. Марксистская эсхатология злобно разрушала привычную жизнь и изо дня в день изменяла и переплавывала древний образ России. Христианская, поскольку у нее хватало сил, осмысливала это разрушение углубленным созерцанием его, неведомого большевикам, сверхисторического смысла.

Насколько страшны были первые годы революции классоненавистническим растлением общества и революционным перекрашиванием России, настолько же значительны они были тем, что все вещи, чувства и мысли начали постепенно обнаруживать свой удельный вес, входить в истину своей сущности, своего подлинного значения. Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головою. Маленькие железные печурки, по прозванию «буржуйки», вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что

священными очагами жизни. По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь. Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи. Насаждая грубый материалистический марксизм, большевики, вопреки своей воле, возрождали платонизм и прежде всего, конечно, в сфере внутренней жизни.

В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего.

Распознавание сущности становилось жизненной необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя.

В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные процессы, руководить которыми не могли ни привычные точки зрения, ни унаследованные нормы. Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания «духов». Жизнь на «вершинах» становилась биологической необходимостью; абсолютное «бытие» переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможной опорой нашей каждодневной жизни. Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его.

Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельною серьезностью и первоначальным значением.

Это вынужденное восхождение душ — о, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России — к вечным ценностям глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории.

<...>

Величайшая разница между национал-социалистической и большевистской революциями заключается в том, что национал-социалисты все заранее продумали, большевики же в техническом отношении переворота не подготовили. Национал-социалисты пришли к власти с готовыми списками министров, гаулейтеров (губернаторов) и всех остальных, более или менее важных государственных чиновников и партийных руководителей. В портфелях этих будущих правителей задолго до переворота лежали детально разработанные планы постепенных мероприятий по переустройству либерально-парламентарного государства в однопартийную диктатуру вождя — Гитлера. Революционный беспорядок длился в Германии всего только несколько дней. С тревогою «древнего хаоса», которая охватила Россию осенью 1918-го года, немецкий беспорядок не имел ничего общего. Это был тот простой профессиональный беспорядок, что неизбежен на всякой фабрике во время расширения дела и установки новых машин. Наскоро установив свои идеологические двигатели и повсюду проложив свои узкоколейные организационно-административные рельсы, национал-социалисты так быстро вынесли сор и вымели двор, что приехавшему извне человеку никак нельзя было догадаться, что в Германии только что произошла величайшая революция.

Казалось бы, из такого положения вещей должна была бы вытекать гораздо большая, чем в большевистской России, свобода. На самом же деле получилось как раз обратное. По крайней мере год в большевистской Москве можно было говорить и творить вещи, за которые в Германии тебя сразу же посадили бы в концентрационный лагерь. Объясняется это, конечно, не большею либеральностью большевиков, а тем, что в насквозь проорганизованном гитлеровском государстве властям все до последней мелочи было видно и слышно. В России же, благодаря недохвату пригодных для управления людей, долгое время царил такой хаос, в котором осмотрительному человеку было возможно укрыться от глаз Чека.

Удайся Ленину сразу же на немецкий лад прозрачно заморозить Россию, никому из помещиков, буржуев и политических противников большевизма не удалось бы пережить первого периода революции. Спасибо марксизму за его теорию необходимого разрушения буржуазно-государственного аппарата. Не последуй Ленин этому учению, ему было бы легче скрутить непокорную

Россию. Но он последовал. Сразу же разрушил недоразрушенные Временным правительством учреждения и принялся все строить заново. Наскоро созданный им партийно-государственный аппарат работал решительно, но технически из рук вон плохо. Его беспомощность и была нашею свободою. Каждую минуту можно было быть ни за что расстрелянным, но одновременно было возможно безнаказанно не исполнять прямых приказаний власти.

<...>

Говоря о жалком остатке свободы, которым мы первое время пользовались в большевистской Москве, я сознательно не касался вопроса о свободе печати. Этой свободы беспорядком не объяснишь: ведь газеты и журналы не прятались в подполье, а открыто выходили с разрешения, или, по крайней мере, с поущения власти. Казалось бы, чего проще: взять и запретить всю антибольшевистскую печать. Большевики этого не сделали. Почему?

Ответа на этот вопрос, думается, надо искать в том, что такие мероприятия, как отмена частной собственности, расширение меньшинственного права на самоопределение, вплоть до выделения из состава Республики, и демобилизация русской армии в самый разгар германского наступления, с передачей защиты русской революции немецкому пролетариату, ощущались большевиками подлинным революционным творчеством, мужественным «отречением от старого мира». В удушении же печати не было ничего нового, ничего революционного и парадоксального. Закрывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир, и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно.

Утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически, конечно, не верно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически-националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал-социалистической Германии. В том, что большевики во Второй мировой войне оказались на стороне западных демократий, есть безусловно своеобразная историческая логика.

<...>

Одною из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы был вплоть до нашей с ним высылки Николай Александрович Бердяев. Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве.

Гневно критикуя интеллигенцию и в особенности народников всех эпох и видов, начиная со славянофилов и кончая коммунистами, Бердяев не щадил и русского народа, не выдержавшего, благодаря слаборазвитому в нем чувству чести, тяжелого испытания войны и оказавшегося «банкротом».

Хотя Бердяев в эмиграции и не примкнул к евразийцам (его бескомпромиссное свободолобие отталкивалось от фашистских элементов их государственного учения), он уже в 1920-м году развивал евразийскую теорию, обвиняя интеллигенцию в том, что она насильнически соединила восточную по своей стихии душу русского народа с западным сознанием и тем помешала оформлению России в тот своеобразно-синтетический Востоко-Запад, каким она была задумана Господом Богом.

С этою центральной со времен спора славянофилов с западниками историософскою темою у Бердяева сливалась вторая тема: правильного соотношения мужского и женского начал в государственном и культурном творчестве народов.

Объяснение неорганического, сверх всякой меры разрушительного характера нашей революции Бердяев искал в том, что Россия не сумела своевременно пробудить в себе мужское начало и им творчески оплодотворить народную стихию. Уж очень долго она невестилась, ожидая жениха со стороны: то призывала древнего варяга, то современного немца и кончила чужеплеменным Марксом.

Явлением одновременно и своим, и мужественным был в России только Петр Великий. Но этот муж оказался насильником, изуродовавшим женственную душу России. Народ нарек его антихристом, и даже порожденная его реформами интеллигенция сразу же подняла знамя борьбы против созданного им на западный лад государственного механизма.

На почве такого неблагоприятного взаимоотношения мужского и женского начал в России и развилась, по Бердяеву, свое-

образная «метафизическая истерия», склонность к одержимости, кликушеству.

К сожалению, Православная Церковь оказалась не в силах уурачевать этот недуг, так как в ее собственных недрах шла аналогичная борьба между чужеродным византийством и народной хлыстовщиной. Питая подвигами своих святых православную веру, она дала русскому народу возможность вынести его трудную историю, но закала личности, самодисциплины души и культуры она в нем выработать не смогла.

Теряя догматическую укрепленность веры, тонко подмечает Бердяев, французы становятся скептиками; теряя глубину мистической жизни — немцы становятся критицистами; русские же, утрачивая апокалиптическое чаяние Царствия Небесного, — становятся нигилистами. Большевизм, — формулирует Бердяев, — есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.

Исходя из такого понимания большевизма, Бердяев налету переуураивал и переоценивал все основные понятия своей социальной философии. Идейно он все определеннее склонялся в сторону христианского консерватизма, но по темпераменту оставался революционером, а потому и насильником как над историческими фактами, так и над чужими учениями.

Переоценка ценностей происходила в те дни не в одном Бердяеве. Хорошо помню очень показательное по своей тенденции выступление одного из «мусажетских юношей», Сергея Николаевича Дурылина³⁶, принявшего весьма для меня неожиданно священнический сан. В старенькой рясе, с тяжелым серебряным крестом на груди, он близоруко и немощно читал у Бердяева доклад о Константине Леонтьеве³⁷. Оставшись, очевидно, и после принятия сана утонченным эстетом, отец Сергей Дурылин убежденно, но все же явно несправедливо возвеличивал этого, в глубине души скептического аристократа и тонкогоценителя экзотических красот жизни, лишь со страху перед смертью принявшего монашество, за счет утописта, либерала и всепримирителя Соловьева.

Соловьевской веры в возможность спасения мира христианством в докладе Дурылина не чувствовалось. Речь шла уже не о том, как обновленным христианством спасти мир, а лишь о том, как бы древним христианством заслониться от мира.

Имена Жозефа де-Местра, Шатобриана и Бональда становились с каждым днем все популярнее³⁸. Я сам засел за перечитывание «Философии мифологии и откровения» Шеллинга.

Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсоветскую жизнь. В те годы насильнического попиранья свободы и личности с особою силою ощущались «первозданные» реальности жизни и общение в духе становилось такою же неотъемлемою потребностью, как еда и сон.

<...>

Удивляться чувствительности большевиков знающим историю людям, впрочем, не приходится. Биографии великих революционеров учат нас тому, что жестокость и сентиментальность — родные сестры. Перед тем как начать подписывать смертные приговоры, «неподкупный» Робеспьер старательно писал чувствительные стихи. До опубликования своего кровожадного коммунистического манифеста Марат³⁹ работал над слащаво-сентиментальным романом, и даже Наполеон⁴⁰, увлекавшийся гётевским «Вертером», сочинил любовную новеллу. А Дзержинский?⁴¹ Разве размышления и стихи его дневников не верх лунатической слезоточивости? Да, Достоевский прав, слишком широким создан человек, надо бы его сузить. Но в революцию он не сужался, а все безудержнее разливался во всю свою и смрадную, но и вдохновенную ширь.

Через Ольгу Александровну дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше неизвестного философа Освальда Шпенглера⁴², предсказывающая близкую гибель европейской культуры. Почти одновременно возник таинственный слух, что эмигрировавший за границу сын князя Сергея Трубецкого⁴³ выпустил в Германии небольшую, но очень содержательную работу в защиту культур примитивных народов от наступающей на них неправомерно претенциозной европейской цивилизации.

Помню, как в ограде Румянцевского музея, нервно оглядываясь по сторонам, шепотом и весьма доверительно рассказывал о Трубецком один из мало знакомых мне доцентов Московского университета. Слушая молодого ученого, о котором ходили вряд ли обоснованные недобрые слухи, я, стыдясь и за него, и за себя,

ловил себя на мысли, что не вполне доверяю ему. Шел мелкий осенний дождь, и было невыносимо скучно и пусто на душе.

Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том «Заката Европы». Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии. Я с радостью согласился и с чувством пещерного жителя, к которому через узкую щель чудом проник утренний свет, принялся за изучение объемистого тома. Волнение, с которым я работал над Шпенглером в своем деревенском кабинете, и поныне каждый раз оживает во мне, как только я открываю «Закат Европы».

Стояли ясные, осенние дни. В риге с утра до вечера стучала молотилка. Мы спешили с молотью, чтобы поскорее освободить машину для крестьян, которые уже считали ее общественной. В саду над облетевшей, багряно червонной листвой печально высился наш старый клен. Под окнами большого дома грустно никли головки белых и лиловых астр. Перекрученные, узловатые сучья обобранных старых яблонь казались исполненными какой-то первозданной муки. На террасе стояли приготовленные для отправки в волисполком ящики с яблоками. Пахло соломой и кисловатым духом прозрачно-восковой антоновки.

Обдумывая доклад, я медленно ходил по саду и подолгу просиживал на скамейке в конце парка, смотря на побуревшие ильневские холмы...

Неужели, — спрашивал я себя, — Шпенглер действительно прав, неужели к Европе и впрямь приближается смертный час? Но если так, то кто спасет Россию?

Вместе с болью о России (повсюду горели имения, со злобою изничтожался сельскохозяйственный инвентарь, бессмысленно вырезывался племенной скот и растаскивались на топливо и цыгарки бесценные библиотеки) — росла в душе и тоска по Европе. Самый вид, самый запах полученной из вражеской Германии книги волновал каким-то почти поэтическим волнением. В памяти невольно возникали образы Флоренции и Рима, Фрейбурга и милого Гейдельберга с его замком, университетом и улицей Звонящего пруда, на которой я жил 1000 лет тому назад. Почему-то к вечеру с одурманивающей силой всплывали европейские запахи: эвкалиптов и мимоз Ривьеры, осыпающихся чайных роз у прогретых солнцем каменных стен во Фрейбурге, чуть пыльный запах уни-

верситетских библиотек и даже сигарный дым международных вагонов-ресторанов...

«Нет, — возражал я мысленно Шпенглеру, — подлинная, то есть христиански-гуманитарная культура Европы не погибнет, не погибнет уже потому, что, знаю, не погибнет та Россия, которая, по словам Герцена, на властный призыв Петра к европеизации уже через сто лет ответила гениальным явлением Пушкина». Самый факт быстрого расцвета русской культуры 19-го века, в результате встречи России с Западом в годы Отечественной войны, представлялся мне неопровержимым доказательством таящейся в Европе жизни.

Даже и большевизм не подрывал моего оптимизма, так как казался не столько русской формой того рационального марксистского социализма, в котором Шпенглер усматривал симптом гибели Европы, сколько скифским пожарищем, в котором сгорал не семенной запас европейской культуры, а лишь отмолоченная солома буржуазно-социалистической идеологии.

Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига. От нашей скифской реализации безбожно-рационалистического европейского социализма я ждал отрезвления Европы; от сопротивления Русской Церкви большевизму — оживления христианской совести Запада. Признаюсь, что минутами мне даже верилось, что после срыва большевизма в Европе начнется руководимое Россией духовное возрождение.

<...>

Третий звонок, свисток. Поезд вздрагивает и трогается. За окном тянутся цепи облезлых товарных вагонов; они скоро кончатся, вот уже плывут дома, улицы. Поезд ускоряет свой ход; мимо нас бегут поля, дачи, леса и, наконец, деревни одна за другой, близкие, далекие, черные, желтоглазые, но все одинаково сирые и убогие в бескрайних осенних полях...

Под окном мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль, под темную лесную полосу отбегает вращаемое движением поезда, черное, среди только что выпавшего первого снега, шоссе... Вдруг в сердце поднимается страшная тоска — мечта, не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а трусом плестись по этому, неизвестно куда ведущему, шоссе.

<...>

22-го ноября закончился 26-й год пребывания за границей высланных из России ученых и общественных деятелей. Несколько человек из нас уже умерло на чужбине. В лице отца Сергия Булгакова⁴⁴ и Николая Александровича Бердяева «первопризывная» эмиграция понесла тяжелую утрату.

Вернется ли кто-либо из нас, младших собратьев и соратников, на родину — сказать трудно. Еще труднее сказать, какую вернувшиеся увидят ее. Хотя мы только то и делали, что трудились над изучением России, над разгадкой большевистской революции, мы этой загадки все еще не разгадали. Бесспорно, старые эмигранты лучше знают историю революции и настоящее положение России, чем иностранцы. Но, зная прекрасно политическую систему большевизма и ее хозяйственное устройство, ее громадные технические достижения и ее непереносимые нравственные ужасы, ее литературу и науку, ее церковь, мы всего этого, по-настоящему, все же не чувствуем; зная факты и статистику, мы живой теперешней России перед глазами все же не видим. В голове у нас все ясно, а перед глазами мрак.

За последние годы из этого мрака вышли нам навстречу новые, возвращенные уже Советской Россией люди. Будем надеяться, что они, если мы только не оттолкнем их от себя и поможем им преодолеть свою «окопную» психологию, помогут нам разгадать страшный облик породившей и воспитавшей их России.

Каюсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку.

Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда.

20 декабря 1948 г.

